

Таблица ИНСЕРТ

✓	—	+	?
Высоцкий — поэт, актёр, композитор и певец.	Бунин — первый русский лауреат Нобелевской премии.	Пьеса Виктора Розова «Летят журавли» стала известна на весь мир.	Гранин награждён тремя орденами, а также медалями.

ТЕСТЫ

- Кому принадлежат слова «Поэт в России больше, чем поэт»?
А) *Рождественскому*; Б) *Евтушенко*; В) *Высоцкому*; Г) *Маяковскому*.
- Определите годы жизни Булата Окуджавы.
А) *1938—1980*; Б) *1932—1994*; В) *1920—1983*; Г) *1924—1997*.
- Кто из поэтов воспитывался в детском доме?
А) *Ахмадулина*; Б) *Розов*; В) *Ахматова*; Г) *Рождественский*.
- Назовите автора романов «Иду на грозу», «Искатели».
А) *Гранин*; Б) *Розов*; В) *Абрамов*; Г) *Бунин*.
- Кто из поэтов вынес 900 дней блокады?
А) *Маяковский*; Б) *Евтушенко*; В) *Ахматова*; Г) *Окуджавы*.

Р а з д е л XVI

МАТЕРИАЛ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ЧТЕНИЯ

Александр Сергеевич Пушкин

МЕТЕЛЬ

В конце 1811 года жил в своём поместье Ненарадове добрый Гаврила Гаврилович Р**. Его семнадцатилетняя дочь Мария Гавриловна считалась богатою невестою. Многие прочили её за себя или за сыновей.

Мария Гавриловна была воспитана на французских романах. Она была влюблена в армейского прапорщика. Он находился в отпуску в своей деревне. Родители заметили их взаимную склонность и запретили дочери думать о нём.

Влюблённые были в переписке. И каждый день виделись наедине в сосновой роще. Там они клялись друг другу в вечной любви. Жаловались на судьбу. Наступила зима и прекратила их свидания. Но переписка стала тем живее. Владимир в каждом письме умолял венчаться с ним тайно, скрываться несколько времени, а затем броситься к ногам родителей.

Марья Гавриловна долго колебалась. Наконец она согласилась. В назначенный день она должна была не ужинать, выйти с девушкой в сад. За садом их ждали сани, чтобы ехать прямо в церковь в село Жадрино. Владимир должен был их ждать.

Дрожащим голосом Мария Гавриловна объявила отцу, что ей ужинать не хочется. Придя в свою комнату, она кинулась в кресло и залилась слезами. Всё было готово.

На дворе была метель. Ветер выл, ставни тряслись и стучали. Маша укуталась шалью, надела тёплый капот, взяла в руки шкатулку и вышла на заднее крыльцо. Служанка несла за нею два узла. Они сошли в сад. Метель не утихала. Ветер дул навстречу. Они насилу дошли до сада. На дороге сани дожидались их. Кучер Владимира помог барышне усесться и уложить узлы и шкатулку. Он взял вожжи, и лошади полетели.

Обратимся к молодому влюблённому. Он целый день был в разъезде. Утром был он у жадринского священника. Потом поехал искать свидетелей.

Уже смеркалось. Он отправил надёжного Терёшку в Ненарадово со своею тройкою. А для себя велел заложить маленькие сани с одной лошадейю.

И один отправился в Жадрино. Туда через два часа должна была приехать и Марья Гавриловна. Дорога была ему знакома, а езды всего двадцать минут.

Но едва Владимир выехал в поле, как поднялся ветер. И сделалась такая метель, что он ничего не видел. Владимир увидел, что едет не в ту сторону. Время шло. Мало-помалу деревья стали редеть. Владимир выехал из леса. Жадрина было не видать. Слезы брызнули из его глаз. Он поехал дальше и увидел небольшую деревушку. Владимир подбежал к первому окну и стал стучаться.

Через минуту высунулся старик. «Что те надо?» — «Далеко Жадрино?» — «Далеко. Вёрст десяток будет». При этом ответе Владимир схватил себя за волосы. Он остался недвижим, как человек, приговорённый к смерти.

Только к утру он достиг Жадрина. Церковь была заперта. Тройки его не было. Какое известие ожидало его!

Но возвратимся к помещикам. Старики проснулись и вышли в гостиную. Отец отправил служанку узнать, как здоровье Марьи Гавриловны. Та сказала, что барышня сейчас придёт в гостиную. В самом деле, дверь отворилась, и Марья Гавриловна подошла здороваться с папенькой и с маменькой.

Марья Гавриловна занемогла. Послали за лекарем. Он приехал к вечеру и нашёл больную в бреду. Открылась сильная горячка. Бедная больная две недели находилась у края гроба.

Родители решили, что любовь к Владимиру была причиной её болезни. И они послали за ним, чтобы объявить своё согласие на брак. Но каково было их удивление, когда получили ответ. Владимир писал, что ноги его больше не будет в их доме. Через несколько дней он уехал в армию.

Маша выздоравливала. Другая печаль её посетила. Скончался Гаврила Гаврилович. Он оставил её наследницей всего имения. Но наследство не утешало её. И мать решила переехать жить в ***ское поместье.

Женихи кружились и тут около милой и богатой невесты. Но она никому не подавала надежды. Владимир умер в Москве. И она берегла память о нём.

Но вот появился в её замке раненый гусарский полковник

Бурмин Георгий. И соседи заговорили о свадьбе. Однажды Бурмин пришёл к Марье Гавриловне:

— Я вас люблю... Но — я несчастнейшее создание... я женат! Я женат уже четвёртый год и не знаю, кто моя жена, и где она!

— Что вы говорите? — воскликнула Марья Гавриловна. — Как это странно! Продолжайте; я расскажу после...

— В начале 1812 года, — сказал Бурмин, — я спешил в Вильну. Там был наш полк. На станции меня застала метель. Буря не утихала. Я увидел огонёк и велел ехать туда. В деревянной церкви был огонь. Церковь была отворена. «Сюда! Сюда!» — закричало несколько голосов. Я велел ямщику подъехать.

«Где ты замешкался? — сказал кто-то, — невеста в обмороке. Поп не знает, что делать». Я молча выпрыгнул из саней и вошёл в церковь. Священник торопился. Трое мужчин и горничная поддерживали невесту. Нас обвенчали.

«Поцелуйтесь», — сказали нам. Жена моя обратила ко мне бледное своё лицо. Я хотел было её поцеловать... Она вскрикнула: «Ай, не он! Не он!» — и упала без памяти. Я бросился к кибитке и закричал: «Пошёл!». Я не знаю, как зовут деревню. Не помню, с какой станции поехал.

— Боже мой, боже мой! — сказала Марья Гавриловна, схватив его руку, — так это были вы! И вы не узнаете меня?

Бурмин побледнел... и бросился к её ногам.

Михаил Юрьевич Лермонтов

ПАРУС

Белеет парус одинокой
В тумане моря голубом!..
Что ищет он в стране далёкой?
Что кинул он в краю родном?..

Играют волны — ветер свищет,
И мачта гнётся и скрипит...
Увы, — он счастья не ищет
И не от счастья бежит!

Под ним струя светлей лазури,
Над ним луч солнца золотой...
А он, мятежный, просит бури,
Как будто в бурях есть покой!

ТУЧИ

Тучки небесные, вечные странники!
Степью лазурною, цепью жемчужною
Мчитесь вы, будто, как я же, изгнанники,
С милого севера в сторону южную.

Кто же вас гонит: судьбы ли решение?
Зависть ли тайная? злоба ль открытая?
Или на вас тяготит преступление?
Или друзей клевета ядовитая?

Нет, вам наскучили нивы бесплодные...
Чужды вам страсти и чужды страдания;
Вечно холодные, вечно свободные,
Нет у вас родины, нет вам изгнания.

СМЕРТЬ ПОЭТА

Погиб поэт! — невольник чести —
Пал, оклеветанный молвой,
С свинцом в груди и жаждой мести,
Поникнув гордой головой!..
Не вынесла душа Поэта
Позора мелочных обид,
Восстал он против мнений света
Один, как прежде... и убит!
Убит!.. к чему теперь рыдания,
Пустых похвал ненужный хор
И жалкий лепет оправдания?
Судьбы свершился приговор!
Не вы ль сперва так злобно гнали
Его свободный, смелый дар
И для потехи раздували
Чуть затаившийся пожар?
Что ж? веселитесь... — он мучений
Последних вынести не мог:
Угас, как светоч, дивный гений,
Увял торжественный венок.

Его убийца хладнокровно
Навёл удар... спасенья нет:
Пустое сердце бьется ровно,

В руке не дрогнул пистолет.
И что за диво?.. издалёка,
Подобный сотням беглецов,
На ловлю счастья и чинов
Заброшен к нам по воле рока;
Смеясь, он дерзко презирал
Земли чужой язык и нравы;
Не мог щадить он нашей славы;
Не мог понять в сей миг кровавый,
На что он руку поднимал!..

И он убит — и взят могилой,
Как тот певец, неведомый, но милый,
Добыча ревности глухой,
Воспетый им с такою чудной силой,
Сражённый, как и он, безжалостной рукой.

Зачем от мирных нег и дружбы простодушной
Вступил он в этот свет завистливый и душный
Для сердца вольного и пламенных страстей?
Зачем он руку дал клеветникам ничтожным,
Зачем поверил он словам и ласкам ложным,
Он, с юных лет постигнувший людей?..

И прежний сняв венок — они венок терновый,
Увитый лаврами, надели на него:

Но иглы тайные сурово
Язвили славное чело;

Отравлены его последние мгновенья
Коварным шёпотом насмешливых невежд,
И умер он — с напрасной жадной мщенья,
С досадой тайною обманутых надежд.

Замолкли звуки чудных песен,
Не раздаваться им опять:
Приют певца угрюм и тесен,
И на устах его печать.

А вы, надменные потомки
Известной подлостью прославленных отцов,
Пятою рабскою поправшие обломки
Игрую счастья обиженных родов!
Вы, жадною толпой стоящие у трона,
Свободы, Гения и Славы палачи!

Таитесь вы под сению закона,

Пред вами суд и правда — всё молчи!..
Но есть и божий суд, наперсники разврата!
Есть грозный суд: он ждёт;
Он не доступен звону злата,
И мысли и дела он знает наперёд.
Тогда напрасно вы прибегнете к злословью:
Оно вам не поможет вновь,
И вы не смоете всей вашей чёрной кровью
Поэта праведную кровь!

ТРИ ПАЛЬМЫ

(Восточное сказание)

В песчаных степях аравийской земли
Три гордые пальмы высоко росли.
Родник между ними из почвы бесплодной,
Журча, пробивался волною холодной,
Хранимый, под сенью зелёных листов,
От знойных лучей и летучих песков.

И многие годы неслышно прошли;
Но странник усталый из чуждой земли
Пылающей грудью ко влаге студёной
Ещё не склонялся под кущей зелёной,
И стали уж сохнуть от знойных лучей
Роскошные листья и звучный ручей.

И стали три пальмы на бога роптать:
«На то ль мы родились, чтоб здесь увядать?
Без пользы в пустыне росли и цвели мы,
Колеблемы вихрем и зноем палимы,
Ничей благосклонный не радуя взор?..
Не прав твой, о небо, святой приговор!»

И только замолкли — в дали голубой
Столбом уж крутился песок золотой,
Звонков раздавались нестройные звуки,
Пестрели коврами покрытые выюки,
И шёл, колыхаясь, как в море челнок,
Верблюд за верблюдом, взрывая песок.

Мотаясь, висели меж твёрдых горбов
Узорные полы походных шатров;
Их смуглые ручки порой подымали,
И чёрные очи оттуда сверкали...
И, стан худощавый к луке наклоня,
Араб горячил вороного коня.

И конь на дыбы подымался порой,
И прыгал, как барс, поражённый стрелой;
И белой одежды красивые складки
По плечам фариса вились в беспорядке;
И, с криком и свистом несясь по песку,
Бросал и ловил он копьё на скаку.

Вот к пальмам подходит, шумя, караван:
В тени их весёлый раскинулся стан.
Кувшины звуча налилися водою,
И, гордо кивая махровой главою,
Приветствуют пальмы нежданных гостей,
И щедро поит их студёный ручей.

Но только что сумрак на землю упал,
По корням упругим топор застучал,
И пали без жизни питомцы столетий!
Одежду их сорвали малые дети,
Изрублены были тела их потом,
И медленно жгли их до утра огнём.

Когда же, на запад умчался туман,
Урочный свой путь совершал караван;
И следом печальным на почве бесплодной
Виднелся лишь пепел седой и холодный;
И солнце остатки сухие дожгло,
И ветром их в степи потом унесло.

И ныне всё дико и пусто кругом —
Не шепчутся листья с гремучим ключом:
Напрасно пророка о тени он просит —
Его лишь песок раскалённый заносит
Да коршун хохлатый, степной нелюдим,
Добычу терзает и щиплет над ним.

ДУМА

Печально я гляжу на наше поколение!
Его грядущее — иль пусто, иль темно,
Меж тем, под бременем познания и сомненья,
 В бездействии состарится оно.
 Богаты мы, едва из колыбели,
Ошибками отцов и поздним их умом,
И жизнь уж нас томит, как ровный путь без цели,
 Как пир на празднике чужом.
 К добру и злу постыдно равнодушны,
В начале поприща мы вянем без борьбы;
Пред опасностью позорно малодушны
И перед властью — презренные рабы.
 Так тощий плод, до времени созрелый,
Ни вкуса нашего не радуя, ни глаз,
Висит между цветов, пришлец осиротелый,
И час их красоты — его паденья час!

Мы иссушили ум наукою бесплодной,
Тая завистливо от ближних и друзей
Надежды лучшие и голос благородный
 Неверием осмеянных страстей.
Едва касались мы до чаши наслажденья,
 Но юных сил мы тем не сберегли;
Из каждой радости, бояся пресыщенья,
 Мы лучший сок навеки извлекли.

Мечты поэзии, создания искусства
Восторгом сладостным наш ум не шевелят;
Мы жадно бережём в груди остаток чувства —
Зарытый скупостью и бесполезный клад.
И ненавидим мы, и любим мы случайно,
Ничем не жертвуя ни злобе, ни любви,
И царствует в душе какой-то холод тайный,
 Когда огонь кипит в крови.
И предков скучны нам роскошные забавы,
Их добросовестный, ребяческий разврат;
И к гробу мы спешим без счастья и без славы,
 Глядя насмешливо назад.

Афанасий Афанасьевич Фет

ОСЕНЬ

Ласточки пропали,
А вчера зарёй
Всё грачи летали
Да как сеть мелькали
Вон над той горой.

С вечера всё спится,
На дворе темно,
Лист сухой валится,
Ночью ветер злится
Да стучит в окно...

Лучше б снег да вьюгу
Встретить грудью рад!
Словно как с испугу
Раскричавшись, к югу
Журавли летят...

Выйдешь, — поневоле
Тяжело — хоть плачь!
Смотришь, — через поле
Перекасти-поле
Прыгает, как мяч...

* * *

Прости — и всё забудь в безоблачный ты час,
Как месяц молодой на высоте лазури!
И в негу вешнюю врываются не раз
Стремленьем молодым пугающие бури, —

Когда ж под тучею, прозрачна и чиста,
Поведает заря, что минул день ненастья,
Былинки не найдёшь и не найдёшь листа,
Чтобы не плакал он и не сиял от счастья.

* * *

Ярким солнцем в лесу пламенеет костёр,
И, сжимаясь, трещит можжевельник.
Точно пьяных гигантов столпившийся хор,
Раскрасневшись, шатается ельник.

Я и думать забыл про холодную ночь, —
До костей и до сердца прогрело;
Что смущало, — колеблясь, умчалось прочь,
Будто искры в дыму улетело.

Пусть на зорьке, всё ниже спускаясь, дымок
Над золою замрёт сиротливо:
Долго-долго, до поздней поры, огонёк
Будет теплиться скупно, лениво.

И лениво и скупо мерцающий день
Ничего не укажет в тумане:
У холодной золы изогнувшийся пень
Прочернеет один на поляне.

Но нахмурится ночь, — разгорится костёр
И, висясь, затрещит можжевельник,
И, как пьяных гигантов столпившийся хор,
Покраснев, зашатается ельник.

* * *

На заре ты её не буди,
На заре она сладко так спит;
Утро дышит у ней на груди,
Ярко пышет на ямках ланит.

И подушка её горяча,
И горяч утомительный сон,
И, чернеясь, бегут на плеча
Косы лентой с обеих сторон.

А вчера у окна ввечеру
Долго, долго сидела она
И следила по тучам игру,
Что, скользя, затевала луна.

И старалась понять темноту,
Где свистал и урчал соловей;
То на небе, то в звонком саду
Билось сердце слышнее у ней.

И чем ярче играла луна,
И чем громче свистал соловей,
Всё бледней становилась она,
Сердце билось больней и больней.

Оттого-то на юной груди,
На ланитах так утро горит.
Не буди ж ты её, не буди,
На заре она сладко так спит!

Николай Алексеевич Некрасов

САША

Дико росла, как цветок полевой,
Смуглая Саша в деревне степной...

Щёки румяны и полны, и смуглы,
Брови так тонки, а плечи так круглы!

Саша не знает забот и страстей,
А уж шестнадцать исполнилось ей...

Выспится Саша, поднимется рано,
Чёрные косы завяжет у стана.

И убежит, и в просторе полей
Сладко и вольно так дышится ей.

Вот по распаханной, чёрной поляне,
Землю взрывая, бредут поселяне —

Саша в них видит довольных судьбой
Мирных хранителей жизни простой:

Знает она, что недаром с любовью
Землю польют они потом и кровью...

Весело видеть семью поселян,
В землю бросающих горсти семян;

Дорого-любо, кормилица-нива,
Видеть, как ты колосишься красиво,

Как ты, янтарным зерном налита,
Гордо стоишь, высока и густа!

ДЕДУШКА

1

Раз у отца, в кабинете,
Саша портрет увидал,
Изображён на портрете
Был молодой генерал.
«Кто это? — спрашивал Саша. —
Кто?..» — «Это дедушка твой». —
И отвернулся папаша,
Низко поник головой.
«Что же не вижу его я?»
Папа ни слова в ответ.
Внук, перед дедушкой стоя,
Зорко глядит на портрет:
«Папа, чего ты вздыхаешь?
Умер он... жив? Говори!
— «Вырастешь, Саша, узнаешь».
— «То-то... ты скажешь, смотри!..»

2

В доме тревога большая.
Счастливы, светлы лицом,

Заново дом убирая,
Шепчутся мама с отцом.
Как весела их беседа!
Сын подмечает, молчит.
«Скоро увидишь ты деда!» —
Саше отец говорит...
Дедушкой только и бредит
Саша, — не может уснуть:
«Что же он долго не едет?..»
— Друг мой! Далёк ему путь!»
Саша тоскливо вздыхает,
Думает: «Что за ответ!»
Вот наконец приезжает таинственный дед.

3

Повеселел, оживился,
Радостью дышит весь дом.
С дедушкой Саша сдружился,
Вечно гуляют вдвоём.
Ходят лугами, лесами,
Рвут васильки среди нив;
Дедушка древен годами,
Но ещё бодр и красив,
Зубы у дедушки целы,
Поступь, осанка тверда,
Кудри пушисты и белы,
Как серебро борода;
Строен, высокого роста,
Но как младенец глядит,
Как-то апостольски просто,
Ровно всегда говорит...

4

Время проходит. Исправно
Учится мальчик всему —
Знает историю славно
(Лет уже десять ему),
Бойко на карте покажет
И Петербург, и Читу,
Лучше большого расскажет
Многое в русском быту.
Глупых и злых ненавидит,

Бедным желает добра,
Помнит, что слышит и видит...
Дед примечает: пора!
Сам же он часто хворает,
Стал уже нужен костыль...
Скоро уж, скоро узнает
Саша печальную быль...

ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА

I

Славная осень! Здоровый, ядрёный
Воздух усталые силы бодрит;
Лёд неокрепший на речке студёной
Словно как тающий сахар лежит;

Около леса, как в мягкой постели,
Выспаться можно — покой и простор!
Листья поблекнуть ещё не успели,
Жёлты и свежи лежат, как ковёр.

Славная осень! Морозные ночи,
Ясные, тихие дни...
Нет безобразья в природе! И кочи,
И моховые болота, и пни —
Всё хорошо под сиянием лунным,
Всюду родимую Русь узнаю...
Быстро лечу я по рельсам чугунным,
Думаю думу свою.

II

Добрый папаша! К чему в обаянии
Умного Ваню держать?
Вы мне позвольте при лунном сиянии
Правду ему показать.

Труд этот, Ваня, был страшно громаден —
Не по плечу одному!
В мире есть царь: этот царь беспощаден,
Голод названье ему.

Водит он армии; в море судами
Правит; в артели сгоняет людей,
Ходит за плугом, стоит за плечами
Каменотёсцев, ткачей.

Ото согнал сюда массы народные.
Многие — в страшной борьбе,
К жизни воззвав эти дебри бесплодные,
Гроб обрели здесь себе.

Прямо дороженька: насыпи узкие,
Столбики, рельсы, мосты.
А по бокам-то всё косточки русские...
Сколько их! Ванечка, знаешь ли ты?

Чу! Восклицанья слышались грозные!
Топот и скрежет зубов;
Тень набежала на стёкла морозные...
Что там? Толпа мертвецов!

То обгоняют дорогу чугунную,
То сторонами бегут.
Слышишь ты пение?.. «В ночь эту лунную
Любо нам видеть свой труд!

Мы надрывались под зноем, под холодом,
С вечно согнутой спиной,
Жили в землянках, боролися с голодом,
Мёрзли и мокли, болели цингой.

Грабили нас грамотеи-десятники,
Секло начальство, давила нужда...
Всё претерпели мы, божиин ратники,
Мирные дети труда!

Братья! Вы наши труды пожинаете!
Нам же в земле истлевать суждено...
Всё ли нас, бедных, добром поминаете
Или забыли давно?..»

Не ужасайся их пения дикого!
С Волхова, с матушки-Волги, с Оки,

С разных концов государства великого —
Это всё братья твои — мужики!

Стыдно робеть, закрываться перчаткою,
Ты уж не маленький! Волосом рус,
Видишь, стоит, измождён лихорадкою,
Высокорослый больной белорус:

Губы бескровные, веки упавшие,
Язвы на тощих руках,
Вечно в воде по колено стоявшие
Ноги опухли; колтун в волосах;

Ямою грудь, что на заступ горбатую
Он и теперь ещё: тупо молчит
И механически ржавой лопатою
Мёрзлую землю долбит!

Эту привычку к труду благородную
Нам бы не худо с тобой перенять...
Благослови же работу народную
И научись мужика уважать.

Да не робей за отчизну любезную...
Вынес достаточно русский народ,
Вынес и эту дорогу железную —
Вынесет всё, что господь ни пошлёт!
Вынесет всё — и широкую, ясную
Грудью дорогу проложит себе.
Жаль только — жить в эту пору прекрасную
Уж не придётся — ни мне, ни тебе.

ТРОЙКА

Что жадно глядишь на дорогу
В стороне от весёлых подруг?
Знать, забило сердечко тревогу —
Всё лицо твоё вспыхнуло вдруг.

И зачем ты бежишь торопливо
За промчавшейся тройкой вослед?..
На тебя, подбоченясь красиво,
Загляделся проезжий корнет.

На тебя заглядеться не диво,
Полюбить тебя всякий не прочь:
Вьётся алая лента игриво
В волосах твоих, чёрных как ночь;

Сквозь румянец щеки твоей смуглой
Пробивается лёгкий пушок,
Из-под брови твоей полукруглой
Смотрит бойко лукавый глазок.

Взгляд один чернобровой дикарки,
Полный чар, зажигающих кровь,
Старика разорит на подарки,
В сердце юноши кинет любовь.

Поживёшь и поспраждуешь вволю,
Будет жизнь и полна и легка...
Да не то тебе пало на долю:
За неряху пойдёшь мужика.

Завязавши под мышки передник,
Перетянешь уродливо грудь,
Будет бить тебя муж-привередник
И свекровь в три погибели гнуть.

От работы и чёрной и трудной
Отцветёшь, не успевши расцвести,
Погрузишься ты в сон беспробудный,
Будешь нянчить, работать и есть.

И в лице твоём, полном движенья,
Полном жизни — появится вдруг
Выраженье тупого терпенья
И бессмысленный, вечный испуг.

И схоронят в сырую могилу,
Как пройдёшь ты тяжёлый свой путь,
Бесполезно угасшую силу
И ничем не согретую грудь.

Не гляди же с тоской на дорогу
И за тройкой вослед не спеши,

И тоскливую в сердце тревогу
Поскорей навсегда заглуши!
Не нагнать тебе бешеной тройки:
Кони крепки, и сыты, и бойки, —
И ямщик под хмельком, и к другой
Мчится вихрем корнет молодой...

Лев Николаевич Толстой

ПЕТЯ РОСТОВ В ОТРЯДЕ ДЕНИСОВА

(Отрывок из романа «Война и мир»)

Был осенний, тёплый, дождливый день. Небо и горизонт были одного и того же цвета мутной воды. То падал как будто туман, то вдруг припускал крупный дождь.

На породистой, худой лошади ехал Денисов. Исхудавшее и обросшее густою, короткою, чёрной бородой лицо его казалось сердито.

Немного впереди него шёл насквозь промокший мужичок-проводник, в сером кафтане и белом колпаке.

Немного сзади, на худой тонкой киргизской лошадёнке с огромным хвостом и гривой и с продрогшими губами, ехал молодой офицер в синей французской шинели.

Рядом с ним ехал гусар, везя за собой на крупе лошади мальчика в французском оборванном мундире и синем колпаке. Мальчик держался красными от холода руками за гусара, пошевеливал, стараясь согреть их, свои босые ноги, и, подняв брови, удивлённо оглядывался вокруг. Это был взятый утром французский барабанщик.

Выехав на просеку, по которой видно было далеко направо, Денисов остановился.

— Едет кто-то, — сказал он.

— Едут двое — офицер и казак.

Ехавшие спустились под гору, скрылись из вида и через несколько минут опять показались. Впереди усталым галопом, погоня нагайкой, ехал офицер — растрёпанный, насквозь промокший, и с взбившимися выше колен панталонами. За ним, стоя на стременах, рысил казак. Офицер этот, очень молоденький мальчик, с широким румяным лицом и быстрыми весёлыми глазами, поскакал к Денисову и подал ему промокший конверт.

— От генерала, — сказал офицер. — Извините, что не совсем сухо...

Денисов, нахмурившись, взял конверт и стал распечатывать.

— Вот говорили все, что опасно, опасно, — сказал офицер. — Впрочем, мы с Комаровым, — он указал на казака, — приготовились. У нас по два пистолета. А это что ж? — спросил он, увидав французского барабанщика, — пленный? Вы уже в сражении были? Можно с ним поговорить?

— Ростов! Петя! — крикнул в это время Денисов, пробежав поданный ему конверт. — Да как же ты не сказал, кто ты? — и Денисов с улыбкой, обернувшись, протянул руку офицеру.

Офицер этот был Петя Ростов.

Антон Павлович Чехов

ХИРУРГИЯ

Земская больница. Доктор уехал жениться. И поэтому больных принимает фельдшер Курятин. Это толстый человек лет сорока, в поношенной жакетке и в истрёпанных триковых брюках.

В приёмную входит дьячок Вонмигласов. Это высокий старик в коричневой рясе и с широким кожаным поясом.

— Ааа... моё вам! — зевает фельдшер. — С чем пожаловали?

— Сел намедни со старухой чай пить и — ни боже мой, ни капельки, хоть ложись да помирай... Хлебнёшь чуточку — и силы моей нету! А кроме того, что в самом зубе, но и всю эту сторону... Так и ломит, так и ломит!

— Мда... Садитесь... Раскройте рот!

Вонмигласов садится и раскрывает рот.

Курятин хмурится, глядит в рот. Среди пожелтевших от времени и табаку зубов усматривает один зуб с дуплом.

— Вырвать его нужно, Ефим Михеич!

— Вам лучше знать, Сергей Кузьмич. На то вы и обучены, чтоб это дело понимать, что вырвать. Дай бог вам здоровья...

— Пустяки, — говорит фельдшер, подходя к шкапу и роясь в инструментах. — Хирургия — пустяки... Тут во всём привычка, твёрдость руки... Раз плюнуть...

— Ну-с, раскройте рот пошире... — говорит он, походя с щипцами к дьячку. — Сейчас мы его... тово... Раз плюнуть... Десну подрезать только... и всё... (подрезает десну) и всё...

— Благодетели вы наши... Нам, дуракам, и невдомёк. А вас господь просветил...

— Не рассуждайте, ежели рот у вас открыт... Этот легко рвать. А бывает так, что одни только корешки... Этот — раз плюнуть... (Накладывает щипцы). Постойте, не дёргайтесь... Сидите неподвижно... Главное, чтоб поглубже взять (тянет), чтоб коронка не сломалась... — Отцы наши... Мать пресвятая... Ввв...

— Не хватайте руками! Пустите руки! (Тянет.) Сейчас... Вот, вот... Дело-то ведь не лёгкое...

— Отцы... Ангелы! Ого-ого... Да дёргай же, дёргай! Чего пять лет тянешь!

— Дело-то ведь... хирургия... Сразу нельзя... Вот, вот...

Вонмигласов поднимает колени до локтей, шевелит пальцами, выпучивает глаза, прерывисто дышит... На багровом лице его выступает пот, на глазах слёзы. Курятин сопит, топчется перед дьячком и тянет... Проходят мучительнейшие полминуты — и щипцы срываются с зуба. Дьячок вскакивает и лезет пальцами в рот. Во рту нащупывает он зуб на старом месте.

— Тянул! — говорит он плачущим и в то же время насмешливым голосом. — Чтоб тебя так на том свете потянуло! Коли не умеешь рвать, так и не берись! Света божьего не вижу...

— А ты зачем руками хватаешь? — сердится фельдшер. — Я тяну, а ты мне под руку толкаешь и разные глупые слова... Дура!

— Сам ты дура!

— Ты думаешь, мужик, легко зуб-то рвать? Возьмись-ка! Это не то, что на колокольню полез да в колокола отбарабанил! (Дразнит.) «Не умеешь, не умеешь!» Скажи, какой указчик нашёлся! Ишь ты... Господину Египетскому, Александру Иванычу, рвал. Да и тот ничего, никаких слов... Человек почище тебя, а не хватал руками... Садись! Садись, тебе говорю!

— Света не вижу... Дай дух перевести... Ох! (Садится.) Не тяни только долго, а дёргай. Ты не тяни, а дёргай... Сразу!

— Учи учёного! Экий, господи, народ необразованный! Живи вот с такими... очумеешь! Раскрой рот... (Накладывает щипцы.) Хирургия, брат, не шутка... Не дёргайся... Зуб, выходит, застарелый, глубоко корни пустил... (Тянет.) Не шевелись... Так... так... Не шевелись... Ну, ну.. (Слышен хрустящий звук.) Так и знал!

Вонмигласов сидит минуту неподвижно. Он ошеломлён... Глаза его тупо глядят в пространство, на бледном лице пот.

Придя в себя, дьячок суёт в рот пальцы. И на месте больного зуба находит два торчащих выступа.

— Паршивый чёрт... — выговаривает он. — Насажали вас на нашу погибель!

— Поругайся мне тут... — бормочет фельдшер, кладя в шкаф щипцы. — Невежа... Мало тебя берёзой потчевали... Господин Египетский, Александр Иваныч, в Петербурге лет семь жил... образованность... один костюм рублей сто стоит... да и то не ругался... А ты что за пава такая? Ништо тебе, не околеешь!

Дьячок придерживает щеку рукой и уходит...

Иван Алексеевич Бунин

ДЕТСТВО

Чем жарче день, тем сладостней в бору
Дышать сухим смолистым ароматом,
И весело мне было поутру
Бродить по этим солнечным палатам!

Повсюду блеск, повсюду яркий свет,
Песок — как шёлк... Прильну к сосне корявой
И чувствую: мне только десять лет,
А ствол — гигант, тяжёлый, величавый.

Кора груба, морщиниста, красна,
Но так тепла, так солнцем вся прогрета!
И кажется, что пахнет не сосна,
А зной и сухость солнечного света.

ВЕЧЕР

О счастье мы всегда лишь вспоминаем.
А счастье всюду. Может быть, оно
Вот этот сад осенний за сараем
И чистый воздух, льющийся в окно.

В бездонном небе лёгким белым краем
Встаёт, сияет облако. Давно
Слежу за ним... Мы мало видим, знаем,
А счастье только знающим дано.

Окно открыто. Пискнула и села
На подоконник птичка. И от книг
Усталый взгляд я отвожу на миг.
День вечереет, небо опустело.
Гул молотилки слышен на гумне...
Я вижу, слышу, счастлив. Всё во мне.

СЛОВО

Молчат гробницы, мумии и кости, —
Лишь слову жизнь дана:
Из древней тьмы, на мировом погосте,
Звучат лишь Письмена.

И нет у нас другого достоянья!
Умейте же беречь
Хоть в меру сил, в дни злобы и страдания,
Наш дар бессмертный — речь.

ОДИНОЧЕСТВО

И ветер, и дождик, и мгла
Над холодной пустыней воды.
Здесь жизнь до весны умерла,
До весны опустели сады.
Я на даче один. Мне темно
За мольбертом, дует в окно.

Вчера ты была у меня,
Но тебе уж тоскливо со мной.
Под вечер ненастного дня
Ты мне стала казаться женой...
Что ж, прощай! Как-нибудь до весны
Проживу и один — без жены...

И сегодня идут без конца
Те же тучи — гряда за грядой.
Твой след под дождем у крыльца
Расплылся, налился водой.
И мне больно глядеть одному
В предвечернюю серую тьму.

Мне крикнуть хотелось вослед:
«Воротись, я сроднился с тобой!»
Но для женщины прошлого нет:
Разлюбила — и стал ей чужой.
Что ж! Камин затоплю, буду пить...
Хорошо бы собаку купить.

АНТОНОВСКИЕ ЯБЛОКИ

(Отрывок из рассказа)

1

...Вспоминается мне ранняя осень. Август был с тёплыми дождиками. Как будто они нарочно выпали для сева в середине месяца, около праздника святого Лаврентия. А «осень и зима хороши живут, коли на Лаврентия вода тиха и дождик». Потом бабьим летом паутины много село на поля. Это тоже добрый знак. «Много тенетника на бабье лето — осень ядрёная»... Помню раннее, свежее, тихое утро... Помню большой, весь золотой, подсохший и поредевший сад, помню кленовые аллеи. Помню тонкий аромат опавшей листвы и — запах антоновских яблок, запах мёда и осенней свежести.

Воздух так чист, точно его совсем нет. По всему саду раздаются голоса и скрип телег. Это тархане, садовники, наняли мужиков и насыпают яблоки. Их отправляют в город. И обязательно ночью, когда так славно лежать на возу, смотреть в звёздное небо, чувствовать запах дёгтя в свежем воздухе. Приятно слушать, как осторожно поскрипывает в темноте длинный обоз по большой дороге.

И прохладную тишину утра нарушает только сытое квохтанье дроздов, голоса да гулкий стук яблок. В поредевшем саду далеко видна дорога к большому шалашу и сам шалаш. Она усыпана соломой. Всюду сильно пахнет яблоками. Тут пахнет особенно. В шалаше устроены постели, стоит одноствольное ружьё, позеленевший самовар. В углу шалаша находится посуда.

Около шалаша валяются ящики. Здесь вырыта земляная печка. В полдень на ней варится великолепный кулеш с салом. Вечером греется самовар. И по саду расстилается голубоватый дым.

В праздничные дни около шалаша — целая ярмарка. И за деревьями поминутно мелькают красные уборы. Толпятся бойкие девки в сарафанах. Они сильно пахнут краской. Приходят «барские» в своих красивых и грубых, дикарских костюмах. Приходит молодая старостиха, беременная, с широким сонным лицом и важная, как холмогорская корова.

А мальчишки в белых рубашках и коротеньких порточках, всё подходят. Идут по двое, по трое, мелко перебирая босыми ножками. Покупает один. Торговля идёт бойко. И садовник весел. До вечера в саду толпится народ. Слышится около шалаша смех и говор, топот и пляски.

Деревенские дела хороши, если антоновка уродилась. Значит, и хлеб уродился. Вспоминается мне урожайный год.

На ранней заре, когда ещё кричат петухи, распахнёшь окно в прохладный сад, и не утерпишь — побежишь умываться на пруд.

Мелкая листва вся облетела, и сучья сквозят на бирюзовом небе. Вода в пруду стала прозрачная, ледяная. Она сразу прогоняет ночную лень. И умывшись, с наслаждением чувствуешь под собой скользкую кожу седла.

Сад у тёти славился соловьями и яблоками... Войдёшь в дом и прежде всего услышишь запах яблок. Потом почувствуешь запах старой мебели красного дерева. Во всех комнатах — прохладно. Всюду тишина и чистота. И вот выходит тётка. Она небольшая. На плечах у неё накинута большая персидская шаль. Выйдет она важно, но приветливо. И под бесконечные разговоры начинают появляться угощения. Сперва антоновские яблоки, а потом удивительный обед. Окна в сад подняты. И оттуда веет бодрой осенней прохладой.

ЦИФРЫ

1

Мой дорогой, когда ты вырастешь, вспомнишь ли ты, как однажды ты вышел из детской. Остановился на пороге столовой и сделал грустное личико.

Ты в этот день проснулся с новой мыслью. Новая мечта захватила всю твою душу. Это иметь свои собственные книжки с картинками, пенал, цветные карандаши. Ты мечтал выучиться читать, рисовать и писать цифры. И всё это сразу, в один день.

Открыв глаза, ты попросил быстрее купить книг, карандашей, бумаги и принялся за цифры. Я обещал их купить завтра. Но ты придумал отличную игру: подпрыгивать, бить изо всех силы ногами в пол. И так звонко кричал, что у нас чуть не лопались барабанные перепонки.

Я кинулся к тебе, дёрнул за руку, шлёпнул тебя. Я вытолкнул тебя из комнаты и захлопнул дверь. Вот тебе и цифры!

От боли, от острого оскорбления ты закричал. И надолго замер. Ясно было: кричать тебе уже не хочется. Голос у тебя охрип, слёз нет. Но ты всё кричал и кричал!

Помнишь ли, как робко вышел ты из детской и что сказал мне?
— Дядечка, прости меня. И дай хоть каплю того счастья!

Но жизнь обидчива. Я сделал обидчивое лицо.

— Цифры! Я понимаю, что это счастье... Но ты не любишь дядю, огорчаешь его...

— Да нет, неправда, — люблю, очень люблю! — горячо воскликнул ты.

— Ну, уж бог с тобою! Неси сюда к столу стул. Давай карандаши, бумагу...

И какой радостью засияли твои глаза!

Как хлопал ты! Как боялся рассердить меня! Как жадно ловил ты каждое моё слово!

Глубоко дыша от волнения, поминутно слюнявя огрызок карандаша, с каким старанием налегал ты на стол грудью. Ты крутил головой, выводя таинственные, полные какого-то значения чёрточки!

Теперь уже и я наслаждался твоею радостью. Нежно вдыхал запах твоих волос. Детские волосы хорошо пахнут, — как маленькие птички.

— Один... Два... Пять... — говорил ты, с трудом водя по бумаге.

— Да нет, не так. Один, два, три, четыре.

— Сейчас, сейчас, — говорил поспешно. — Я сначала: один, два...

И смущённо глядел на меня.

— Ну, три...

— Да, да, три! — подхватывал ты радостно. — Я знаю.

И выводил три, как большую прописную букву Е.

Максим Горький

Из сборника рассказов «По Руси»

КНИГА

(Отрывок)

В парке я увидел растрёпанную книгу. Видимо, она лежала тут давно, под дождями осени, под снегом зимы. Теперь весеннее солнце высушило её страницы, и уже нельзя было прочитать, о чём говорят поблёкшие линии букв.

Я пошевелил её носком сапога и пошёл дальше. Но я думал о том, что может быть, это — хорошая книга и немало людей,

читая её, волновались, спорили, учились думать. Может быть, кого-то она оплодотворила новой мыслью. И многих согрела в холодные часы одиночества своим теплом.

Мне вспомнилось, каким добрым другом была для меня книга во дни отрочества и юности. Особенно ярко встала в памяти жизнь на маленькой железнодорожной станции.

Станция стояла в степи. Бывало, смотришь в степь: над пустою землёй струится марево. На бугорках стоят суслики. А больше никого нет, — дышишь пустотою, и сердце жалобно сжимается от скуки.

Я и телеграфист Юдин были страстными любителями чтения. Мы читали книги с ненасытной жадностью, день и ночь, в свободные часы. Книги были для нас просветами в мир действительной жизни из мира мёртвой пустоты.

Но очень быстро мы проглотили все книги, какие нашлись на шести станциях между Волгой и Доном. И вот наступила для нас полоса духовного голода. Его муки знакомы только тем, кто жил в пустотах нашей страны, задышался в густоте её равнин. Нечем жить. Это, кажется, самое жуткое ощущение, испытанное мною.

Долго маялись мы в поисках хороших книг, но не находили ничего.

Пётр Колтунов издевался над нами:

— Что, ребята, издыхаете? Потеха!

И однажды, сжалившись, предложил:

— У меня в Калаче знакомый есть, он выписывает журнал. Хотите — попрошу?

Мы стали умолять его. Он, посмеявшись, согласился. И через несколько дней кондуктор пассажирского поезда вручил Колтунову пакет и письмо.

— Вот он, журнал! — сказал Колтунов, победоносно взмахнул пакетом. Но, прочитав письмо, закусил усы, сунул пакет под мышку.

— Ну, давай сюда, — попросил Юдин, радостно улыбаясь большим ртом.

Колтунов приподнял плечи и тоном начальника заявил:

— Успеешь, не лезь! Я схлопотал. Мне первому и читать, а вы — после!

Он запер книгу в ящик своего стола и до конца дежурства не разговаривал с нами. Когда он уходил к себе, Юдин сказал ему:

— Ляжешь спать, положи книгу на видном месте, я зайду, возьму её...

Но он не ответил, только усмехнулся. Около полуночи Юдин предложил мне:

— Пойди-ка, возьми книжку, он, наверное, дрыхнет уже.

Из окна квартиры Колтунова изливался жёлтый свет, падал на землю. Сквозь кисею я видел Колтунова. Он сидел за столом в ночном белье, облокотясь, согнувшись. Его острый небритый подбородок судорожно вздрагивал, и на книгу капали слёзы. При свете лампы было хорошо видно, как они падали одна за другою. Мне казалось, что я слышу мокрые удары о бумагу.

Колтунов выпрямился, посмотрел в окно. Вот он поднял книгу над лампой и стал сушить слёзы. Посушив и потрогав пальцем страницу, снова качает книгу над огнём. А из глаз его всё катятся слёзы, застревая в усах...

СКАЗКИ ОБ ИТАЛИИ

XI

О Матерях можно рассказывать бесконечно.

Уже несколько недель город был обложен тесным кольцом врагов. По ночам зажигались костры, и огонь смотрел из чёрной тьмы на стены города множеством красных глаз — они пылали злорадно.

Со стен видели, как всё теснее сжималась петля врагов; было слышно ржание сытых лошадей, доносился звон оружия, громкий хохот. Раздавались весёлые песни людей, уверенных в победе, — а что мучительнее слышать, чем смех и песни врага?

В домах боялись зажигать огни, густая тьма заливала улицы. И в этой тьме безмолвно мелькала женщина, закутанная в чёрный плащ.

Люди, увидев её, спрашивали друг друга:

— Это она?

— Она!

И прятались в ниши под воротами или, опустив головы, молча пробегали мимо неё. А начальники патрулей сурово предупреждали её:

— Вы снова на улице, монна Марианна? Смотрите, вас могут убить, и никто не станет искать виновного в этом...

Она выпрямлялась, ждала, но патруль проходил мимо, не решаясь или брезгуя поднять на неё руку. Вооружённые люди обходили её, как труп. А она оставалась во тьме и снова тихо, одиноко шла куда-то.

Гражданка и мать, она думала о сыне и родине: во главе людей, разрушавших город, стоял её сын, весёлый и безжалостный красавец. Ещё недавно она смотрела на него с гордостью, как

на драгоценный свой подарок родине. Теряло сердце матери ближайшего человека и плакало: было оно подобно весам. Но, взвешивая любовь к сыну и городу, не могло понять — что легче, что тяжелей.

Так она ходила ночами по улицам, и многие, узнавая её, молча отходили прочь от матери изменника.

Однажды около городской стены она увидела другую женщину. Стоя на коленях около трупа, она молилась, подняв скорбное лицо к звёздам.

Мать изменника спросила:

— Муж?

— Сын. Муж убит тринадцать дней тому назад, а этот — сегодня.

И, поднявшись с колен, мать убитого сказала:

— Мадонна всё видит, всё знает, и я благодарю её!

— За что? — спросила первая, а та ответила ей:

— Теперь, когда он честно погиб, сражаясь за родину, я могу сказать, что он вызывал у меня страх. Он слишком любил весёлую жизнь, и было боязно, что ради этого он изменит городу, как это сделал сын Марианны. Будь он проклят!

Закрыв лицо, Марианна отошла прочь, а утром явилась к защитникам города и сказала:

— Или убейте меня за то, что мой сын стал вашим врагом, или откройте мне ворота. Я уйду к нему...

Они открыли ворота пред нею, выпустили из города и долго смотрели со стены, как она шла по родной земле, густо насыщенной кровью, пролитой её сыном.

И вот она пред человеком, которого знала за девять месяцев до рождения. Всё так, как должно быть; именно таким она видела его много раз во сне — богатым, знаменитым и любимым.

— Мать! — говорил он, целуя её руки. — Ты пришла ко мне. Значит, ты поняла меня, и я завтра возьму этот проклятый город!

— В котором ты родился, — напомнила она.

Но он продолжал:

— Я родился в мире и для мира, чтобы поразить его удивлением! Я щадил этот город ради тебя. Но завтра я разрушу гнездо упрямцев!

— Где каждый камень знает и помнит тебя ребёнком, — сказала она.

— Камни — немые, если человек не заставит их говорить. Пусть горы заговорят обо мне, вот чего я хочу!

— Но — люди? — спросила она.

— О да, я помню о них, мать! И они мне нужны, ибо только в памяти людей бессмертны герои!

Она сказала:

— Герой — это тот, кто творит жизнь вопреки смерти, кто побеждает смерть...

— Нет! — возразил он. — Разрушающий так же славен, как и тот, кто строит город. Мы не знаем, кто построил Рим, но — точно известны имена героев, разрушавших этот город.

Так говорили они до заката солнца. Она всё реже перебивала его безумные речи, и всё ниже опускалась гордая голова.

Мать — всегда против смерти. Рука, которая вводит смерть в жилища людей, ненавистна и враждебна Матерям. Сын не видел этого, ослеплённый холодным блеском славы.

С чёрных гор в долину спускались тучи. Они, точно крылатые кони, летели на обречённый город.

И сказала мать сыну:

— Иди сюда. Положи голову на грудь мне. Отдохни, вспоминая, каким ты добрым ребёнком был.

Он послушался, прилёг на колени и закрыл глаза, говоря:

— Я люблю только славу и тебя, за то, что ты родила меня таким, какой я есть.

Она спросила его в последний раз:

— Ты не хочешь иметь детей?

— Зачем? Чтобы их убили? Кто-нибудь, подобный мне, убьёт их. А мне это будет больно.

И задремал на груди матери, как ребёнок.

Тогда она накрыла его своим чёрным плащом и вонзила в сердце нож. Он тотчас умер. Ведь она хорошо знала, где бьётся сердце сына. И, сбросив труп его с колен, она сказала в сторону города:

— Человек — я сделала для родины всё, что могла. Мать — я остаюсь со своим сыном! Мне уже поздно родить другого, жизнь моя никому не нужна.

И тот же нож, ещё тёплый от крови сына, она твёрдой рукой вонзила в свою грудь и тоже верно попала в сердце. Если оно болит, в него легко попасть.

Александр Иванович Куприн

ОЛЕСЯ

Кустарник скоро окончился. Передо мной было большое круглое болото. На другом конце болота выглядывали белые стены какой-то хаты. Я перебрался через это болото. Взобрался на приго-

рок. Теперь я мог хорошо рассмотреть хату. Эта была даже не хата, а сказочная избушка на курьих ножках. Она не касалась полом земли, а была построена на сваях. Но одна сторона от времени осела. Это придавало избушке хромой и печальный вид.

Я отворил дверь. Около печки возилась старуха. Все черты бабы-яги были налицо: худые щёки переходили внизу в острый, длинный подбородок. Он соприкасался с висящим внизу носом. Беззубый рот постоянно двигался... Выцветшие голубые глаза с очень короткими красными веками глядели, как глаза зловещей птицы.

Но вдруг мне пришло в голову попытать последнее средство. Я вытащил из кармана серебряный четвертак и протянул его старухе. При виде денег она зашевелилась. Глаза её раскрылись ещё больше. И она потянулась за монетой своими скрюченными, узловатыми, дрожащими пальцами.

Я обещал монету отдать, если она погадает. Старуха начала гадать и вдруг остановилась. Она подняла голову и к чему-то прислушалась. Чей-то женский голос, свежий, звонкий и сильный, пел, приближаясь к хате.

Старуха ухватила меня за рукав куртки и стала тянуть к двери. Лицо её выражало сильное беспокойство.

Голос, певший песню, вдруг оборвался совсем близко около хаты. Громко звякнула железка. И в двери показалась рослая смеющаяся девушка.

Обеими руками она бережно поддерживала полосатый передник. Из него выглядывали три крошечные головки с красными шейками и чёрными блестящими глазёнками.

— Смотри, бабушка, зяблики опять за мной увязались, — воскликнула она, громко смеясь, — посмотри, какие смешные...

Но увидела меня и замолчала. Она вспыхнула густым румянцем. Её тонкие чёрные брови недовольно сдвинулись. А глаза с вопросом обратились на старуху.

— Вот барин зашёл... Спрашивает дорогу, — пояснила старуха.

— Послушай, красавица, — сказала я девушке. — Покажи мне, пожалуйста, дорогу на Ириновский шлях. А то из вашего болота во веки веков не выберешься.

Олеся показывала мне направление дороги. А я невольно залюбовался ею. В ней не было ничего похожего на местных «дивчат». Лица их под уродливыми повязками носят однообразное выражение. Моя незнакомка была высокой брюнеткой, около двадцати — двадцати пяти лет. Она держалась легко и стройно. Просторная белая рубаха свободно и красиво обвивала её молодую, здоровую грудь.

Оригинальную красоту её лица нельзя было позабыть. Прелесть лица заключалась в больших, блестящих, тёмных глазах. Им тонкие надломленные брови придавали неуловимый оттенок лукавства, властности и наивности.

Кожа смугло-розового тона. Нижняя губа была несколько более полной.

— Неужели вы не боитесь жить одни в такой глуши? — спросил я и остановился у забора.

— Чего же нам бояться? Волки сюда не заходят.

— Да разве волки одни... Снегом вас занести может. Пожар может случиться... И мало ли что ещё. Вы здесь одни. Вам и помочь никто не успеет.

— И славу богу! — махнула она рукой. — Как бы нас с бабкой вовсе в покое оставили. Так лучше было бы.

Я догадался, что старуха и эта красавица боятся притеснений. Я поспешил её успокоить.

— Я посторонний человек. Просто приехал сюда погостить на несколько месяцев. А там и уеду.

Лицо девушки прояснилось

— А вы как: раньше об нас слышали или сами зашли?

— Слышать-то я слышал. Даже хотел когда-нибудь забрести к вам. А сегодня зашёл случайно. Я заблудился... Ну, а теперь скажи, чего вы людей боитесь? Что они вам злого делают?

Она заговорила с волнением:

— Плохо нам от них приходится. Над бабкой надругаются: ты, говорят, ведьма, чертовка, каторжница...

— А тебя не трогают? — сорвался неосторожный вопрос.

Она с надменной самоуверенностью повела головой снизу вверх. В её глазах мелькнуло злое торжество.

— Не трогают... А разве мы кого-нибудь трогаем! Нам и людей не надо. Раз в год только схожу я в местечко купить мыла да соли... да вот ещё бабушке чаю, — чай она у меня любит.

Владимир Владимирович Маяковский

ХОРОШЕЕ ОТНОШЕНИЕ К ЛОШАДЯМ

Били копыта.

Пели будто:

— Гриб.

Грабь.

Гроб.

Груб. —